

Среди дериватов периферийной мотивации есть несколько групп производных, являющихся на первый взгляд модификантами: префиксальные глаголы (*выделить*), постфиксальные глаголы (*умыться*) суффиксальные существительные (*ёжик 'стрижка'*), однако наличие и не обусловленного словообразовательного структурой компонента значения говорит о том, что дериваты такого типа логичнее было бы относить в сфере мутации, вопреки устоявшимся представлениям о связи словообразовательного значения и типа словообразовательного форманта.

Заметим в заключение, что обычно периферийная мотивация возможна только на основе прямой мотивации. Среди новообразований возможна также периферийная мотивация переносным значением. Например, новообразование *лопуход* (Д. Емец) семантически мотивировано вторым переносным значением существительного *лопух* 'о глупом человеке, простаке' и имеет не обусловленный структурой компонент значения 'не владеющий искусством магии'.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Земская Е. А. Свойство слова выражать нечто, не содержащееся в значении его составных частей, называют фразеологичностью семантики // Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование. – М.: Просвещение, 1973. – 302 с.
2. Козинец С. Б. Словообразовательная метафора: пересечение лексической и словообразовательной систем // Филологические науки. – 2007. – № 2. – С. 1–69.
3. Пастушенко Г. А. Современный русский язык. Структура слова. Морфемика. Формообразование. Словообразование. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2004. – 220 с.
4. Рацибурская Л. В. Словарь уникальных морфем. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 155 с.

УДК 811.161.1.-394

И. В. Гладилина, Е. Г. Усовик

НЕЧТО И НИЧТО: КАТЕГОРИЯ ОТЧУЖДЕНИЯ В РУССКОЙ КЛАССИКЕ

Статья посвящена исследованию способов лингвистической репрезентации проблемы отчуждения в русской литературе XIX века. На основе анализа языковой семантики рассматривается механизм художественного моделирования философского понятия, представленного в текстах Н. В. Гоголя и М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Ключевые слова: языковая семантика, семантическая оппозиция, дескриптор, ключевое слово, окказионализм, «раздвоенная реальность», онтологическое и социальное зло.

Понятие раздвоенной действительности, зафиксированное соответствующим концептом в русской литературе, прежде всего, связано с проблемой отчуждения. Данная философская категория впервые чётко оформляется в трудах Ф. Шиллера и Ф. Ницше, получает своё развитие в работах

Н. А. Бердяева, М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра.

Объективно категория отчуждения выражает превращение результатов деятельности человека в самостоятельную силу, господствующую над ним и враждебную ему. Она лишает человека активности действия, и страх перед НИЧТО сковывает его. Художественный концепт «раздвоенная реальность» маркирует в сознании автора и читателя параллельность двух форм жизни, которая и пронизывает все уровни текста.

Если обращаться к конкретному материалу, то наиболее репрезентативными в этом аспекте являются повесть Н. В. Гоголя «Старосветские помещики» и сказочный цикл М. Е. Салтыкова-Щедрина. В этих произведениях параллельность «миров» маркируется универсальными семантическими оппозициями *истина – ложь; настоящее – ненастоящее; жизнь – смерть; добро – зло*.

Так, многие исследователи поэтики Н. В. Гоголя отмечают, что он создаёт колоссальный подтекст, уводящий читателя в какой-то запредельный для обыденного сознания мир философских категорий, главная из которых – *жизнь и смерть*, их взаимоотношение. Эта двойственность является доминирующей чертой организации гоголевского текста (от отдельных лексических единиц до композиции) и восходит к мифологическому в своей основе мышлению писателя [4: 37].

Переходя непосредственно к тексту «Старосветских помещиков», приведём высказывание М. Н. Виролайнен: «В повести обрисован не единый мир с приложенной к нему единой мерой, но несколько миров, несколько мер – несогласованных, спорящих друг с другом» [1: 314].

Причина подобной двойственности, согласно мировоззрению Н. В. Гоголя, коренится в двойной природе самого зла: социальной и онтологической. Социальное зло людьми создается или же может быть искоренено, а «зло онтологическое присуще той глубинной сущности мира, переустроить которую человек не властен. Чётко отграничить одно от другого оказывается почти невозможным» [1: 326]. Онтологическое (мифологическое) зло абсолютно неконтролируемо человеком, оно архаично, неожиданно и необъяснимо, вечно и всепроникающее. Это не зло со значением «дьявол» и христианским возможным духовным совершенствованием и спасением, это зло мистическое и мифологическое, изначально заданное и непостижимое. Это – НЕЧТО.

В связи с этим повествование в «Старосветских помещиках» может быть условно разделено на два уровня, два плана:

– первый – «низший», собственно контекстный, сюжетный, эксплицитный, бытовой, *физический*;

– второй – «высший», философский, мистический, *мифологический*. Он выходит за рамки данного произведения, охватывает всё творчество писателя, выходит и за его пределы, и уровень, смысловые категории которого имеют вселенское значение. Естественно, первый уровень связан со вторым отношением включения.

Каждый из уровней характеризуется своими ключевыми единицами

или теми же единицами, но с другой семантической наполненностью и значимостью в структуре языковой личности. При анализе ключевых единиц на физическом уровне идеологически значимыми оказываются ключевые слова *привычка, домик, смерть и сон*. В семантическое поле *домик* входят ключевые слова *скромный, уединение, спокойствие* и восстановленный дескриптор *уют*: «Я очень люблю **скромную** жизнь тех **уединённых** владельцев отдалённых деревень...» [2: 34]; «Все эти давние необыкновенные происшествия заменились **спокойною и уединённую** жизнью...» [2: 197]; «После ужина тотчас отправлялись опять **спать**, и всеобщая тишина водворялась в этом деятельном и вместе **спокойном** уголке» [2: 301]. *Домик* на физическом уровне, будучи символом «владельцев», обозначает *жизнь*. Соответственно, антонимом будет *смерть*, которая наступает в результате случая («Событие... произошло от самого маловажного случая» [2: 45]), поэтому появляются ключевые слова *жалость, пустота* (увидел, что *пусто* в его комнате, страшная сердечная *пустыня*), *беспорядок* (здесь и далее выделено нами – И. Г., Е. У.) (после смерти Пульхерии Ивановны в доме воцарился «*странный беспорядок*» [2: 49] и дескриптор *странно* (странное устройство вещей, странный беспорядок, странные чувства).

Таким образом, на физическом уровне выстраивается контекстная оппозиция *привычка – страсть*: «– *Боже!* – думал я, глядя на него [Афанасия Ивановича], – *пять лет всеистребляющего времени, – старик уже бесчувственный, старик, которого жизнь, казалось, ни разу не возмущало ни одно сильное ощущение души, которого вся жизнь, казалось, состояла только из сидения на высоком стуле, из ядения сушёных рыбок и груш, из добродушных рассказов, – и такая долгая, такая жаркая печаль! Что же сильнее над нами: **страсть или привычка?** Или все сильные порывы, весь вихорь наших желаний и кипящих страстей – есть только следствие нашего яркого возраста и только по тому одному кажутся глубоки и сокрушительны?» *Что бы ни было, но в это время мне казались детскими все наши страсти против этой долгой, медленной почти бесчувственной привычки*» [2: 51].*

Окончательное превосходство *привычки* над *страстью* происходит на мифологическом уровне. В результате привлечения имплицитной информации, связанной с мифопоэтической традицией, кардинально изменяется смысловые доминанты текста. Центральная оппозиция физического уровня *страсть – привычка* сменяется универсальными философскими категориями *жизнь – смерть*. Последний член оппозиции репрезентируется дериватами прилагательного «пустой»: Вернувшись с похорон, Афанасий Иванович «увидел, что *пусто* в его комнате, что даже стул, на котором сидела Пульхерия Ивановна **был вынесен – он рыдал...**» [2: 50]. С одной стороны, реализуется значение «пустое, ничем не заполненное пространство», с другой – нельзя не ощутить присутствия, фона другого значения: «состояние душевной опустошённости», что и объясняет дальнейшую реакцию героя. Особенно ярко это значение выступает в дискурсе повествователя в словосочетании «*страшная сердечная пустыня*» [2: 53].

Появляется ещё одна семантическая доминанта текста – ПУСТОТА, которая тесно связана другими доминантами – СЛОВО (голос, зов) И СТРАХ: «Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось *слышать* голос, называющий вас по имени, который простолюдины объясняют тем, что одна душа стосковалась за человеком и призывает его, и после которого *следует неминуемо смерть*. Признаюсь, *мне всегда был страшен этот таинственный зов*. Я помню, что в детстве часто его слышал: иногда вдруг позади меня *кто-то* явственно произносил моё имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный; ни один лист в саду на дереве не шевелился, *тишина была мёртвая*, даже кузнечик в это время переставал кричать; ни души в саду; но, признаюсь, если бы ночь самая бешеная и бурная, со всем адом стихий, настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался её, как этой *ужасной тишины* среди безоблачного дня. Я обыкновенно тогда бежал с *величайшим страхом* и занимавшимся дыханием из сада, и тогда только успокаивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту *страшную сердечную пустыню*» [2: 52–53].

Таким образом, центральные ключевые единицы образуют цепочку:

СЛОВО > СТРАХ > СМЕРТЬ (ПУСТОТА)



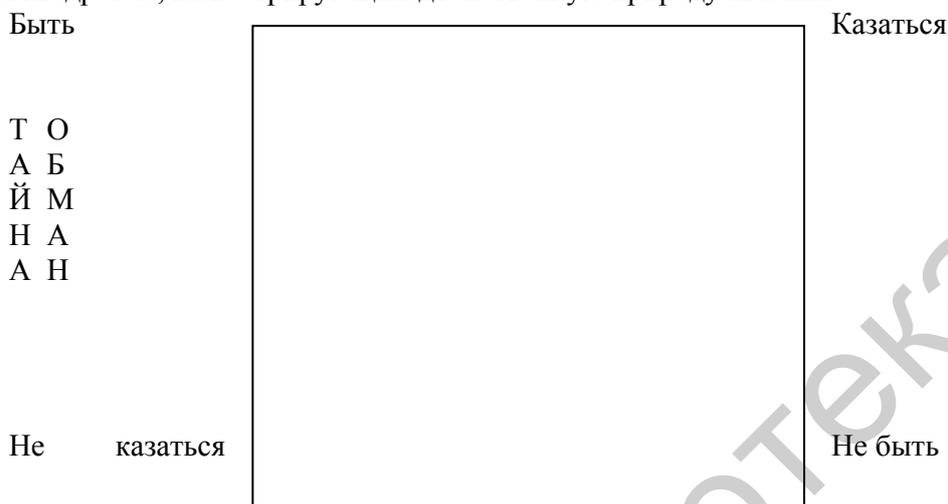
Гоголевское понимание *смерти* как *пустоты* является семантически диффузным: это НЕЧТО и НИЧТО одновременно. И если НЕЧТО у Н. В. Гоголя, прежде всего, пустота, порождённая онтологическим злом, то пустота у М. Е. Щедрина – НИЧТО – результат зла социального.

Основной темой своего творчества М. Е. Салтыков-Щедрин считал разоблачение зла и лжи. Для понимания семантики текста «Сказок» важно следующие высказывания, принадлежащие автору: «На свете существует множество всяких слов, но самые опасные из них – это слова прямые, настоящие. Никогда не нужно настоящих слов говорить, потому что из-за них изъяны выглядывают. А ты пустопорожнее слово возьми и начинай им кружить... Тогда изъяны стущуются сами собой, а останется одна *вобушкина правда*» [5: 16, 67].

Таким образом, слова с точки зрения автора, делятся на «прямые, настоящие», т. е. слова правды и слова «пустопорожние», пустомысленные, ложные, формируя в тексте оппозицию *настоящего* – *ненастоящего*.

К ней примыкает аппозитивное сочетание *обманщик-газетчик*. Появление данного образа связано, прежде всего, с идейным заданием сказки – разоблачение беспринципности буржуазной коммерческой печати. Газетчик, журналист – тот, кто произносит слово. Слово в концепции М. Е. Салтыкова-Щедрина, как и Н. В. Гоголя, занимает позицию доминанты, оно служит характеристикой определённого способа жизни. Поэтому слово газетчика вписывается в систему отношений «настоящее – ненастоящее» (ложное слово как выражение особой жизненной позиции). Роль второго

компонента аппозитивного сочетания не только в том, чтобы охарактеризовать буржуазного журналиста как человека, торгующего истиной «распивочно и на вынос», но семантика этой лексемы позволяет нам сделать более глубокий вывод относительно идейного содержания и данной сказки, и всего цикла. Он фиксирует сложный смысловой комплекс *обман*. Его содержание с точки зрения логики можно продемонстрировать классическим семиотическим квадратом, иллюстрирующим двойственную природу явления:



В творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина обман – это не только некая отрицательная деятельность, но и существенная характеристика бытия. Об этом он пишет в «Помпадурах и помпадуршах»: «...гоняясь за действительностью обыденною, осязаемою, он [читатель] теряет из вида другую, столь же реальную действительность, которая, хотя и редко, выбивается наружу, но имеет не меньше прав на признание, как и самая грубая, бьющая в глаза конкретность. Я пользуюсь всяким тёмным намёком, всяким минутным изливанием и с помощью ряда усилий вступаю твёрдой ногой в храмину той другой, не обыденной, а скрытой действительности, которая одна и представляет верное для всесторонней оценки человека» [5: 8, 189].

Так в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина появляется раздвоенная реальность: с одной стороны – обыденность обывательского существования, отличающаяся полным отсутствием всех нравственных ориентиров: «То ли дело обман! Знай тиши, да обманывай. Пять копеек со строчки. Но что всего замечательнее – печатает газетчик только истину, а за строчку все пять копеек платит. ...Выходит, что истина, что обман – всё равно, цена грош» [5: 16, 61]; с другой стороны – вторая реальность, как воплощение идеала писателя, в которой добро и истина являются высшими ценностями. Параллельность этих форм жизни пронизывает все уровни сказочного цикла. Следовательно, обманщик-газетчик – носитель ценностей ложной действительности. Дальнейший семантический анализ компонента обманщик позволяет конкретизировать предварительные выводы. В словаре В. И. Даля зафиксировано следующее речение: «*обманщигово слово – протухлое.*

Протухание – гниение, порча» [3: III, 552]. Гниение, гнилое – «последняя степень разложения. Хвастливое слово гнило. Похвальное слово гнило. Что лживо, то и гнило» [3: I, 361].

Таким образом, компонент *обманщик* анализируемого аппозитивного сочетания характеризует не только героя, являющегося проводником идеалов осязаемой, обыденной, или ложной, действительности, но и сама она получает крайне отрицательную характеристику. Поэтому одной из своих задач как писателя М. Е. Салтыков-Щедрин считал разоблачение этой реальности, «...которая любит прятаться за обыденным фактом», «без этого разоблачения невозможно воспроизведение всего человека, невозможен правдивый суд над ним» [5: 8, 191].

Добро и зло в произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина воплощаются в разнообразных художественных образах, например в аллегорическом образе животного-хищника – гиены, который олицетворяет собой определённый социально-психологический тип деградированного человека. Поэтому *гиенское, гиенство* – характеристики не животного, а человека, низведённого до уровня зверя, обезчеловеченного человека: «И, очевидно, эта спутанность происходит именно оттого, что тип *гиены-оборотня* как будто ускользнул от него» [5: 16, 194].

Структура лексического значения данных единиц сложна. Его основу составляют процессы приглушения узуальной денотации – соотнесённость со свойствами реального животного – и формирования окказиональной референции, выступающей как общая денотативная отнесённость (*зло* – лексема с отвлечённым значением), а признаками денотата являются текстуальные характеристики зла – жестокость, античеловечность, агрессивность.

Семантическая структура окказионализмов сопровождается следующими преобразованиями: контекстом «погашается» архисема «животное» и одновременно на первый план выходит и становится ядерной сема «человек», которая, если принять во внимание пропозицию опыта «отнесённость человека и животного к определённым биологическим видам» и аллегорический план сказки, является периферийной в структуре значения лексемы *животное*.

Поэтому образ гиены-оборотня можно рассматривать как воплощение зла. Писатель переносит такие свойства гиены, как ехидство, трусость, уже на конкретного человека или, вернее сказать, на определённый тип поведения людей: «Знаю-де, я гиену, которая днём в человеческом виде дорогих гостей принимает, а чуть смеркнется, берётся за перо и начинает – в гиенском образе – газету писать...» [5: 16, 195].

В сказке возникает образ оборотня, что неизбежно влечёт за собой появление мотива раздвоенной реальности.

Если понятие оборотничества рассмотреть с точки зрения его логического содержания, то оно совпадает со значением смыслового комплекса ОБМАН: не быть, но казаться.

Таким образом, лексема *оборотень* находится на пересечении двух семантических полей «зло» и «ложь». Они, являясь репрезентантами одной

из форм реальности – обыденной, представляют собой способ существования отчуждённого человека. «Перевернутый мир» навязывает свои правила жизни, свою мораль, а «потерянный» человек не может ей ничего противопоставить. Чтобы как-то выжить, он начинает приспосабливаться к создавшемуся положению, ловчить, лгать, что ведёт к подмене основных нравственных ценностей сиюминутной выгодой. «С расширением горизонтов явления самые общеизвестные и бесспорные утрачивают свою резкость и даже изменяют свои первоначальные названия. Глупость начинает называться благодушием, коварство – дипломатией, мошенничество – искусством жить на свете» [5: 10, 55]; «добро», «красота», «истина» – всё это только слова, которые непременно нужно наполнить содержанием, чтобы они получили значение.

Ничего нет в действительности, на что бы можно было опереться человеку. Всё зыбко, всё неопределённо. На уровне поэтической системы писателя это передаёт образ человека – пустой бутылки, которую всегда можно наполнить, каким угодно, подходящим для данного момента содержанием: «Как бы то ни было, но я живу, а если живу, то стало быть имею право отстаивать и своё существование. Но отстаивать его я не могу иначе, как продолжая быть той самой пустой бутылкой, какую сделали меня обстоятельства. Иначе я буду исключён из жизни. Покуда порожняя посуда имеет возможность дребезжать и звенеть, моя обязанность – дребезжать и звенеть, и время от времени наполняться той жидкостью, которая наиболее подходит вкусам минуты. Какая это жидкость – до этого мне нет дела, ибо я не просто бутылка, а бутылка, относящаяся с полным равнодушием к тому, что её наполняет» [5: 10, 49]. Образ человека – пустой бутылки закрепляет в художественной системе автора самую жестокую форму остранения – отчуждение человека от самого себя. Фактически социальное зло опустошает человека, приводит его к смерти.

При всей разности поэтических систем Н. В. Гоголя и М. Е. Салтыкова-Щедрина, при всём несовпадении понимания природы зла очевидно, что в текстах обоих авторов возникает семантическое тождество. Первоначально заданная оппозиция НЕЧТО и НИЧТО (как онтологический и социально мотивированный феномена) образует синонимическую пару, контекстуальная «позиция нейтрализации» которой маркируется одними и теми же ключевыми словами – *пустота* и *смерть*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виролайнен М. Н. Речь и молчание. Сюжеты и мифы русской словесности. – СПб.: Амфора, 2003. – 504 с.
2. Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. – М.: Русская книга, 1994. – Т. 2. – 689 с.
3. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. – М.: Олма-Пресс, 2004. – Т. 1. – 944 с.; т. 3. – 928 с.
4. Мильдон В. И. Эстетика Гоголя. – М.: ВГИК, 1998. – 126 с.
5. Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. – М.: Художественная литература, 1974. – Т. 8. – 440 с.; Т. 10. – 560 с.; Т. 16. – 472 с.